

Николай Александров

ВСЁ
МОЁ

Omnia tua

БУКВЫ
БЫТ
ЕДА

КУЛЬТУРНЫЙ
РАЗГОВОР

Николай Дмитриевич Александров

Всё моё (сборник)

Серия «Культурный разговор»

текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=34519464

*Николай Александров. Всё моё: повесть в письмах, эссе: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной; Москва; 2018
ISBN 978-5-17-107889-8*

Аннотация

Николай Александров – известный журналист и ведущий литературных программ на каналах «Культура» и «ОТР», на «Эхе Москвы»; автор книги «Силуэты пушкинской эпохи», собрания бесед с зарубежными и русскими писателями «Тет-а-тет» и «С глазу на глаз». Книга «Всё моё» – это опыт свободного размышления, без канонов и жанров, где нашлось место и повести в письмах, и мемуару, и парадоксальной эссеистике, и рассуждениям о вине, гусях и рыбалке. И конечно – о литературе, как подсказке, поводе для размышлений над всем на свете.

Содержание

Письма Соломонову	5
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Николай Александров

Всё моё: повесть в письмах, эссе

Оформление переплета и фотографии автора – *Андрей*

Рыбаков

© Александров Н. Д.

© ООО «Издательство АСТ»

Николай Александров – известный журналист и ведущий литературных программ на каналах «Культура» и «ОТР», на «Эхе Москвы»; автор книги «Силуэты пушкинской эпохи», собрания бесед с зарубежными и русскими писателями «Тет-а-тет» и «С глазу на глаз».

Письма Соломонову

«Письма Соломонову». Так будет называться моя «крутая повесть», по твоему выражению, или «мой проект», как сегодня принято говорить.

А почему нет?

Мне просто нужен собеседник, доверенное лицо. А доверять мне некому.

Я даже себе не могу доверять, а если бы и доверял, то писал не повесть в письмах, а дневник.

Рассказывал бы себе о самом себе. Звучит глупо. Хотя разве писатели не занимаются именно этим?

Повесть в письмах – хоть какое-то отстранение.

Дело в том, что у меня нет воображения. Любая история, которую я придумываю, легко сводится к формуле – ОН и ОНА. Это в лучшем случае. Представить, что с ними происходит, – выше моих сил. Впрочем, даже их самих представить трудно.

Я вообще плохо рассказываю. Я путаюсь в словах и мыслях. В дискурсах – тоже путаюсь. Ну какой смысл, например, так начинать повесть в письмах. Даже если я пишу предисловие. Обычно предисловие пишут уже после того, как текст завершен. А я только начинаю. Плана у меня нет. Насколько меня хватит – не знаю. Может быть, и не хватит.

Наверное, нужно поставить точку. Предисловие окончено.

но. Правда, оно ни о чем не говорит. Это – насильно завершенный текст. Это принуждение к молчанию. Оборванность. Фрагмент.

Письмо первое

Главное, что у меня есть, – это я сам. Меня у меня – не отнять, пока Я остаюсь тем, что внутри себя называю Я.

Я – может отнять болезнь и превратить в другое Я или в не Я. В испанского короля, в Гоголя, Достоевского, в кролика.

Мне мое Я суждено нести всю мою жизнь. И это нелегко, каким бы Я ни было.

Я не уверен, что мое Я развивается. Мне кажется, что в основе, в сути своей, я равен себе пятилетнему, равен тому душевному комку, который впервые с удивлением посмотрел на себя в зеркало, который впервые представил и с изумлением понял, что он для чего-то запущен в этот мир.

Я помню этот день. Я катался, повиснув на двери, которая вела из комнаты родителей в гостиную нашей квартиры на Чистых прудах, и впервые осознал – вот это Я. Я – вот этот маленький шпендель. А вокруг меня – мир. И почему я здесь – совершенно непонятно. И главное – я кончусь когда-нибудь.

Осознание себя – это осознание своей смертности, конечности. Я – временно здесь, но что потом – неизвестно. Все скорее чувствуется, чтобы пробудиться позже. И я помню,

когда ЭТО пробудилось.

Мне было десять лет. Я был в пионерлагере. В месте, которое мне не нравилось. И окружающие меня люди мне не нравились. Я был в изгнании. Я был бездомным, выброшенным из домашнего уюта, тепла, из привычного существования, привычного круга вещей. И вот ночью, на узкой казенной пионерской кровати, я неожиданно понял – когда-нибудь я умру, прекращусь. Но что это такое – прекращусь? Что значит – меня не будет? Куда денется мое Я? Этого я понять не мог. И пришел ужас. Он возник как звук, и звук этот вторгался в мое существование, гудел монотонным постоянным фоном. Он затихал днем, но обретал силу ночью. Он вошел в меня, вжился в меня, все время напоминал о себе. Он был больше чем болезнь, поскольку был неотвратимее, поскольку не давал надежды на спасение. Казалось, о нем невозможно забыть, привыкнуть к нему. Он был настойчив и упрям. И безжалостен. Но я привык. Постепенно. Я научился его заглушать. Я привык к моментам его возвращения, к охватывающему темному, непроглядному отчаянию, к настойчивому напоминанию о грядущей катастрофе.

Все закончится, все прекратится, ничего не будет. Но как это все осознать? Никак. Этого просто не может, не должно произойти. Но ведь произойдет.

Мы с детства верим в свою исключительность, особость, неповторимость, гениальность. Я, по крайней мере, верю. И

в этом нет ничего позорного, стыдного. Конечно, я – особый, исключительный. Разве нет? По идее, эту особенность не нужно и демонстрировать. Она существует как данность.

Толстой говорил, что нужно забыть о своем Я, что «забвение о себе» и есть путь спасения.

Вот и Пелевин с буддистской настойчивостью талдычит об этом же, то есть говорит о призрачности Я. Нет никакого Я, и всё тут.

А я о себе забыть не могу. О смертности своей привык забывать. А о себе – нет.

И если до конца забыть о себе, не значит ли это просто умереть, слиться с открывшимся в детстве ужасом, завершиться, исчезнуть, что бы это ни значило?

Забвение о себе... Пьянство, например, ведь тоже – забвение. И соблазн, позыв, стремление – скинуть эту тяжкую ношу, это давящее Я.

Куда с ним деваться, кому это Я принести, с кем разделить этот груз?..

Вот отсюда и писательство.

Письмо пятое

Дорогой мой друг! Я был болен. Я хворал. Я физиологически переживал свою экзистенциальную несостоятельность. То есть мне было худо вдвойне. Я не мог написать ни строчки, потому что мне был невнятен сам смысл написания

строк, вымучивания слов, сам процесс измышления. Кроме того, у меня был насморк, болела голова и першило в горле.

На самом деле я написал тебе раньше. Еще четыре письма. Но отсылаю их только сегодня. Поэтому и письмо сие значится за номером пять.

Письмо второе

Люди стесняются говорить о своей смерти, о своей смертности. Хотя почему-то считается приличным говорить о смерти другого, переживать, испытывать горе.

Смерть присутствует в каждом как данность, как безусловный факт. Вне зависимости от того, как ты ее понимаешь: как переход куда-то или как завершение пути, тупик, исчезновение. В любом случае она будет.

Смерть есть. И это страшно. Страшно для Я.

Чувствовать свою смертность неуютно. Но можно о смертности забыть. И задуматься о другом – куда нести свое неповторимое Я, кому?

Мы играем словами, и вся наша жизнь – слова, воплощенные или невысказанные. Мы все – писатели. И чем больше мы забываем о смерти, тем безответственней становятся слова. Наверное, так.

Впрочем, я готов играть словами. Не то чтобы мне нравилось болтать (легкость в разговоре, непринужденность светской беседы – не мой конек), но болтовня иногда может быть

полезной, помогает, избавляет от ощущения тяжести Я. И от натужной серьезности.

Серьезным быть приятно, даже несмотря на то, что после всплесков серьезности чувствуешь жгучий стыд. В общем, как с пьянством. Пьяные ведь, как правило, становятся жутко серьезными. Невыносимо серьезными. А серьезным быть не важно, а тяжело. Для окружающих в первую очередь.

Я вот всегда завидовал легкости. Легкость и быстрота. Скорость реакции. Непринужденность. Гений – в легкости, потому что легкость – это совершенство. Кто быстро мыслит, тот ясно излагает. Завидная способность. Дальше все зависит от того, насколько интересна и глубока твоя мысль.

Я мыслю глубоко, но медленно. Мне так кажется.

Потому что я ленив.

То есть мыслю медленно, потому что ленив. Потому что нравлюсь себе, когда думаю и выдумываю. Настолько нравлюсь, что, выдумав мысль, постоянно к ней возвращаюсь.

Тяжкий труд автоописания, самоизъяснения. Неблагодарное занятие – уверить в ценности своего Я других. Это легче сделать, совершив подлог, то есть сделав вид, что продаешь не себя, а нечто другое. Хоть бы и свою душевную эманацию.

Продал чуть-чуть себя, но сам остался цел. И если вам этот плод моего Я не понравился, то и бог с ним. Обидно, конечно, но всегда есть оправдание: во-первых, вы не поняли, во-вторых, я могу лучше, в-третьих, я все равно гений.

И последний тезис истинен во всех случаях. Каждый ге-

ниален. Но творения гения могут быть бездарны. И в этом нет противоречия.

Письмо третье

Но вообще-то странна это потребность в разговоре, в коммуникации, желании показать свое Я, донести свое Я до другого.

Я выглядит неприлично. Люди из какого-то внутреннего стыда, из потаенного смущения не рассказывают о себе (то есть почти, или редко). Или рассказывают, прикрываясь историями. О другом рассказывать легче, хотя это всегда рассказ о себе. Что бы ни говорили постмодернисты.

Я интересен только себе, и другой мне интересен постольку, поскольку он – Я. Я с удивлением обнаруживаю себя в другом. И это – расширение моего существования. Расширение пространства борьбы, говоря словами Мишеля Уэльбека. Хотя Уэльбек здесь совершенно ни при чем. Признать, что другой существует так же, как я, – почти невозможно. Поэтому люди и ходят к психоаналитикам. Они рассказывают о себе, а в ответ получают молчание. Сочувственное молчание.

В принципе, это модель идеальной критики. Критик сочувственно молчит, пока писатель не выскажется до конца и не поймет, какая именно травма заставила его писательство-

вать, пока не осознает свою ущербность. И тогда писатель замолчит.

На самом же деле эта травма – рождение.

Мы рождены для высказывания.

А кто не высказывается – тот аутист.

Физики, например, аутисты.

Кому нужна эта вселенная, эти черные дыры, эти кванты.

Если все это не превращается в компьютеры и мобильные телефоны, конечно.

Аутист, способный сосчитать все, все разложить на числа – и не способный к коммуникации. Пленник абстракции и отвлеченного знания. Гений иных измерений.

Может быть, поэтому я не люблю математику. Точнее – всегда был в математике бездарен.

Отвлеченная красота математической задачи – идеал безличности, формула постмодернизма.

Андрей Белый очень этому завидовал, потому что отец у него был математик. Это была его трагедия, Андрея Белого то есть. Он не родился математиком, но очень математиком хотел быть. И все время математику имитировал. Схемы рисовал, графики.

Как можно заниматься математической безликостью? Это вторжение в Бога, в холод его творения.

Тепло появилось с жизнью, огонь воспылал в человеке. Человек – это божественный интеграл, квадратура круга, корень из минус единицы, число Пи.

Ну и прочее...

Письмо четвертое

Я пишу текст, и смысл этого текста в том, что он должен закончиться. Сам закончиться, логично завершиться, исчерпать себя. Но как может завершиться мысль? Что такое конец мысли, тем более мысли о себе. Это же не доказательство теоремы, не силлогизм. Можно ли Я представить в виде силлогизма? – Нельзя. Я сам себе и родовое и видовое понятие. Я превращаюсь в силлогизм, когда становлюсь кем-то, не собой. Силлогизм требует третьего лица. Силлогизм – это ОН.

Но чем закончится моя повесть – понять трудно. Наверное, это дастся мне в ощущениях, произойдет само собой. У меня же нет плана. Даль, неясная даль впереди.

Письмо шестое

Нужно как-то выкручиваться из этой путаной нумерологии, собственно, поэтому я и пишу. Сказать мне особенно нечего. Дремлет моя мысль. Но за четвертым письмом должно следовать шестое, и эта железная логика, этот категорический императив понуждает меня к действию. К счастью,

шестое письмо я тоже уже тебе написал. Вот оно.

Две барышни разговаривают в баре. Я сижу за стойкой, они – справа от меня. Та, что ближе, рассказывает. Не могу отвести глаз от ее рук. Рукава засучены по локоть. Загорелая гладкая кожа. Ладони – бледнее, поэтому кажутся старше. То есть в них проглядывает будущее. Почему до сорока лет я не обращал внимания на руки барышень? Чудовищная ошибка.

Рассказывает она о том, как приобретала говорящего попугая. Милый рассказ, приукрашенный непринужденным матом. В этом есть особое очарование, которого я был лишен в моей юности. Мат тургеневских барышень – симпатичная примета нашего времени. Попугай, перенесший два переезда, во вновь обретенном месте молчал три дня. А потом заговорил.

– Сидит в клетке и пи...т. Не отдельные непонятные звуки, а тексты...

Вторая удивляется, и, в свою очередь, рассказывает о говорящем попугае. Он произносил разные слова, но однажды заболел, замолчал и... умер.

Это судьба Гоголя – думаю я. Впрочем, гоголь – тоже птица.

Письмо седьмое

Я вот все думаю, почему мне в голову постоянно приходит

Веничка Ерофеев. На самом деле понятно почему. Веничка, вечный Веничка Ерофеев, если перефразировать известное восклицание Родиона Романовича Раскольникова. Именно он сумел в своих волшебных ретортах соединить мучительную пронизательность Достоевского, соблазнительную интимность Розанова, ироничную анафорическую стилистику Рабле. Он научил нежно говорить о себе, то есть нашел способ выразить нежнейшее к себе отношение, наше преисполненное нежности упоение собой.

Не все, конечно, относятся к себе нежно, но подавляющее большинство из их числа – этих не всех – стесняется это чувство выразить.

В нежности видится слабость.

Так оно и есть.

Мечта о твердости, непреклонности – одна из самых распространенных.

А Веничка сумел преодолеть стыд, природное стеснение собственной интимности. И остался в литературе не как Венедикт, а как Веничка.

Спасибо ему.

И теперь во всякой открытой, нежно-ироничной интимности проглядывает Веничка Ерофеев. Это уже больше, чем литература. Это стиль. Это язык. Кириллица и глаголица. Психологический алфавит. Найденная возможность высказывания. Преодоление табу.

Стоит ли удивляться, что мне все время чудится его го-

лос? Не стоит.

Письмо восьмое

Если бы я назвал свою повесть «Сто писем Соломонову», мне был бы ведом финал. Формальные ограничения иногда полезны. Но я заложник названия – «Письма Соломонову». Сколько их будет? сколько их должно быть, чтобы хотя бы оправдать жанр повести? Я уже пересек границу Рассказа или еще нет? Я уже вырвался из цепких лап случайности, из когтей беспричинности, сюжетной необязательности и композиционной безответственности – или пока всё еще пребываю в них?

И главное – когда же лень моя по-настоящему заявит о себе и превратит в бессмысленность все написанное и все, что написано могло бы быть.

Здесь бы, по идее, и надлежало возникнуть сюжету, здесь и должна была бы появиться, скажем, бричка, въезжающая в город N, ну или подобное что-нибудь. Но воображение мое молчит, так что придется ограничиться риторикой.

Письмо девятое

Все-таки странная вещь реализм, как письмо, как способ художественного выражения, как занятие, как позиция, с ко-

торой творец обзревает мир.

Мне тут недавно рассказали историю. Очень простую, из жизни одной волжской деревни, что стоит неподалеку от города, в российской летописи оставшегося прежде всего как место, где в XVI веке был убит престолонаследник. Жителей – коренных жителей, если дачников не считать, – в деревне осталось мало. Люди они незатейливые, в быту неприхотливые. Живут чем бог послал, что лежало плохо, что с возу упало. Впрочем, и работают иногда. Ну и пьют, разумеется, а потому на этом свете, как правило, долго не задерживаются. Однако пьянство пьянству рознь. Был в деревне мужик. Звали его Горох. Прозвище его такое. И он тоже пил. И стал со временем Горох совсем плохой. Когда напивался, ходил по деревне и во всех ружьем тыкал. Ему раз сказали, что нехорошо, Горох, ружьем тыкать. Другой. Он не слушал или уже слушать не мог. И однажды зимой – пропал Горох. Был, и не стало. Куда делся – никто не знает. Спрашивают – все руками разводят. А когда снег сошел, нашли Гороха, крысами объеденного. Видать, пьяный замерз.

Понятно, что из этой истории легко сделать реалистичный рассказ. Правдивый, мрачный. Жизнь Гороха обрисовать. Как судьба его складывалась, как он пить начал, с чего вдруг ружьем во всех тыкать стал. Про односельчан написать: про Витьку, который бросил пить, после того как его, пьяного, трактор переехал. Бросил пить и сделал карьеру – всю бывшую колхозную технику скупил. Про бой-бабу Ма-

ринку – мать трех колхозных председателей. Про Юльку-рыжю, которая благодаря шевелюре своей далеко продвинулась в РАО ЕЭС и, вернувшись в деревню, к дому своему чуть ли не ЛЭП протянула. Ну и кроме того – Волга, простор, глубинка, Русь. Покой. Вечный.

Но зачем?

Сам сюжет, сам анекдот – богаче и содержательней. Есть ли смысл обвешивать его реалистичной фактурой. Нужно как-то очень сильно любить словесную лепку такого рода, этакий вербальный монументализм, кисть и широкий мазок пронизательного, приметливого художника. В этом есть какое-то извращение, какой-то комичный надрыв, уже и осмеянный, кстати, неоднократно.

Или я завидую? – Завидую, наверное.

А еще я в одной книге прочитал, что Пифагор, когда его укусила ядовитая змея, в ответ сам ее укусил. И змея умерла. А Пифагор жив остался.

Письмо десятое

Я понял, я понял, как закончится моя повесть. Финал есть. И теперь пишу с легким сердцем. Точнее – буду писать с легким сердцем и успокоенной совестью. Потому что сейчас иду спать и читать «Свечку» Залотухи. То есть – наоборот.

Письмо одиннадцатое

Как пишется роман. На что это похоже – на яркую страсть или ровный брак. Каждый день на протяжении года жить в одном мире с выдуманными персонажами. Это легче, чем с реальными людьми? И когда испытываешь настоящее счастье – в процессе писания или по завершении романа? Может, так и с любовью (о браке не говорю) – истинное счастье испытываешь, когда любовь прошла («...или дать отставку милой, / Или отставку получить»).

Но, правда, странное дело – писать роман. Всерьез. Как на работу ходить. Впрочем, и играть в роман не менее странно. Но в игре хотя бы есть смысл.

Залотуха написал роман в 1700 страниц. Писал 12 лет. Написал – и умер. Все говорят, что это эпохальное произведение.

Есть ли серьезное занятие для человека. Даже готовиться к смерти – и то глупо. И знаменитое «познай самого себя» – звучит не очень.

Руссо думал оправдаться перед Богом своей «Исповедью». То есть честным рассказом о своих мазохистских комплексах, в детстве проявившихся, о рецидивах эксгибиционизма, онанизма, совместной жизни с женщиной, которую он называл «маменька» (точнее говоря, о жизни втроем – маменька, Руссо и преданный слуга маменьки). Чушь.

«Исповедь» – великая книга. Но не оправдание существования.

И бытие как таковое – бредовая мечта экзистенциалистов – не более чем очередной философский проект.

И «просто жизнь» – ерунда. Попробуй ничего не делать хотя бы день – сразу начнешь испытывать постоянный зуд: чем бы себя занять.

Себя все время нужно куда-то девать – в пьянство, в работу, в любовь, в телевизор, в рыбалку, в Фейсбук, в путешествия. Я – это такая затычка, которая постоянно ищет бочку.

Письмо двенадцатое

У бара. Молодой человек рассказывает, как ходил в Сандуны (Сандуновские бани) в день «прямой линии» президента с народом. Плазма светится, президент говорит. Голые люди в полотенцах слушают. Реагируют: «Ну всё, лет назад эдак на тридцать пять – вот тренд на ближайшие годы...» Грустный, похожий на питекантропа, боксер и депутат Госдумы ходит: «Кто меня попарит?..»

Смешно.

А рассказав это, добавляет: «Но самый ад – это Первый женский».

Круто. Первый женский круг ада. В Сандунах.

Письмо тринадцатое

Нет, не угнаться мне за Василь Василичем. Он каждый листик бережно подбирал, сохранял и аккуратненько укладывал в короба. Потому что жил в истории. А мы живем в скверном анекдоте. Или, если говорить субстантивно, – в скверне, поскольку пределы анекдота оставили давно позади... В «Первом женском».

Что фикшн, что нон-фикшн – все равно. Плетение словес обретает смысл только тогда, когда проникаешься полной, абсолютной бессмысленностью этого занятия. Слова теряют вес. Такой танец в невесомости. Пузыри земли. Хороводы симулякров. И сам ты такой воздушный-воздушный. Вот тебе еще немножко пузырей.

Про постмодернизм. Определять его можно по-разному. Но что важно. Постмодернизм – это не просто превращение идеи в симулякр. Точнее так. Что из этого следует? Постмодернизм означает упразднение диалектики (диалектики по Лосеву, например). В самом простом виде это означает следующее. Диалектика подразумевает восхождение к Единому. То, что кажется противоречием на одном уровне, перестает им быть при восхождении на следующую ступень. Красивые примеры из математики. Гордиев узел сам собой распадается в четвертом измерении. Или: если у нас есть

два концентрических круга. В двухмерном измерении (плоскость) один находится в плену другого, освобождение невозможно. Но если мы добавим третье измерение (объем), один из другого вынимается легко.

В постмодернизме никакого Единого нет. Это скопление симулякров, истинность (сущность) которых доказать невозможно. Никто никуда не восходит, и ничто ничему не противоречит. Более того, постмодернизм упраздняет простую дедукцию.

Понятно, что постмодернизм дает совершенно необъятное пространство для мифа. Собственно, постмодернизм и есть сплошное порождение пустых мифов. Логика, диалектика здесь, в этом пространстве, в этом измерении, не работают. Из этого следуют вот какие любопытные вещи.

Постмодернизм художественный, литературный – это сознательная, отстраненная игра в мир, потерявший Единое. В роли Единого выступает автор, намеренно отвернувшийся, отстранившийся от своего создания. То есть он сам в себе может сохранять единство, но созданный им мир к нему отношения не имеет.

Вот дворянская усадьба. Суета в доме. Барышня в радостном волнении, в ожидании какого-то важного события. Все вполне узнаваемо, все в соответствии с кодами классической литературы. Но потом оказывается, что барышня готовится к тому, чтобы стать главным блюдом на праздничном ужине. Ее должны съесть (рассказ Владимира Сорокина). В клас-

сическом читательском восприятии такое невозможно. Повесть из дворянской жизни – одно, а сказка про Ивашечку, которого хочет съесть ведьма, – другое. В постмодернизме – возможно. Одно существует рядом с другим и уже самим этим фактом одновременного существования указывает на ложность создаваемого мира. Точнее, на его инаковость.

Если мы в политике, в политическом дискурсе будем утверждать, что радостный быт дворянских усадеб связан с тем, что в усадьбах периодически ели барышень и сами барышни этого хотели, то мы или циники, или безумцы. Но циники все-таки – скорее всего.

Письмо четырнадцатое

Был ли Розанов постмодернистом. Был.

Розанов был Фейсбуком своего времени, клейкой бумагой, на которую налипали наивные мухи-читатели. Он всех подкупал своей интимностью, и в этом обращении ко всем и был его феномен. Только он в голодном 1918 году мог написать: «Читатель, горстка крупы, немного табака могут спасти твоего писателя».

Я вот, например, ущербный человек ущербной эпохи, вынужден писать к тебе, Соломонов, условностью адресного обращения возмещая недостаток открытости, розановской апелляции ко всем.

Розанов был как радушный лукавый хозяин, который пьет на террасе чай, глядит на мир и говорит всякому проходящему: заходи, и тебе чашечку налью. И растроганный посторонний идет, усаживается с Розановым за стол, пробует его варенья. А Розанов мирно воркует, мешает ложечкой чай в стакане с подстаканником, показывает всякие коллекционные мелочи: монетки старинные, книжки, цитаты, листочки с надписями, окружает обманчивым уютом. И хорошо так, по-домашнему становится.

При этом одновременно с заднего крыльца Розанов может принимать совсем других гостей. На общую доверительность, на позицию письма, благоустройство читателя это никак не влияет.

Письмо пятнадцатое

Странное существо человек. Он жметя к другим, к теплу пусть даже никчемной беседы. Томится в ожидании – вдруг что-то произойдет, случится чудо – и жизнь изменится. Чуда не происходит, но зато даже пустые светские беседы с далекими, в общем-то, чужими людьми согревают. А главное, спасают от самого страшного страха – одиночества. Когда ты один, по-настоящему один, на тебя обрушивается весь поток существования. И от этого жутко. Что делать с этой слепой в своем движении силой, как удержать оболочки своего Я от разрушения, от безумия, от отчаянья? «Нехорошо человеку

быть одному» – и то правда. Можно было бы сказать – трудно быть одному. Потому что ближние утешают, отвлекают, убаюкивают, и кажется, что вихрь жизни пронесется где-то рядом, над крышей. Там – холод и дождь и мрак грозных вопросов и требований. А здесь – уют, нагретый чужим дыханием, голоса, мир – в смысле общность, – и можно забыть о буре, бушующей за окном.

Чем же так пугает этот экзистенциальный поток? Наверное, безликостью, неоформленностью, хаосом. И бессмысленностью. Это то самое аморфное, чистое существование, которое приводило в оцепенение героев Камю. Смысл в этот хаос может быть только привнесен, но когда ты один, эти жалкие попытки хотя бы как-то справиться с течением бытия, с этой гудящей онтологической трубой (!) – обречены.

Короче говоря, отшельничество – трудный путь, тем более отшельничество без веры. Собственно, в этом и был эксперимент экзистенциалистов.

Письмо шестнадцатое

«Боже мой, как трудно писать!» – написал я, и это восклицание, достойное страдающего циститом, справедливо и в том случае, когда ударение в глаголе падает вполне ordinarily, то есть на второй слог. При этом выраженные в этом простом предложении муки творчества, видимо, из-за амбива-

лентности высказывания на письме, приобретают остро ощущаемые физиологические оттенки. «Не хотим писать в пустоту» – такой заголовок мой отец дал заметке об австрийских молодых композиторах, когда работал в газете «Советская культура». Австрийские композиторы жаловались на невостребованность своих произведений. Банальная проблема не только музыкальной среды. Он, как всегда, опаздывал, заметка версталась поздно, заголовок попросили изменить, и он по телефону сказал первое, что пришло в голову. Так газета и вышла. Утром добрые друзья журналисты позвонили отцу и поздравили его. Собственно, я тоже не хочу писать в пустоту. Поэтому пишу тебе, дорогой Соломонов. С трудом, но пишу.

Письмо семнадцатое

За отчетный период я ознакомился с целым рядом книг (американских авторов), посвященных писательскому мастерству. Писатели, по большей части мне не знакомые, но, судя по всему, добившиеся успеха в США, делятся секретами своего ремесла и наставляют юные дарования на нелегкий путь беллетристики. Подобного рода пособия у меня всегда вызвали смутное чувство неприязни и небезосновательные подозрения в шарлатанстве. Во-первых, я, человек читающий, освоивший и просмотревший гору литературы и литературной макулатуры, не знаю, что такое писатель-

ское мастерство, как ему следует учить, а главное – стоит ли учить. Во-вторых, вся ремесленная литературная грамматика настолько невнятна, пошла и тошнотворна, что заставляет сомневаться в здравом уме и честности людей, берущих на себя ответственность обучать одной грамматике молодых людей, начинающих свой путь в литературе. В-третьих, все книги по писательскому мастерству, если опустить лирические отступления, воспоминания, примеры и цитаты, сводятся к одному тезису: для того чтобы научиться писать – нужно писать. С этим не поспоришь. Но в таком случае я на верном пути.

Я пишу, несмотря на кризисы и бури, плохое настроение и житейские неурядицы, недостаток воображения и отсутствие плана. Я двигаюсь. Я соединяю, пусть и с трудом, одно слово с другим, я пытаюсь поймать вдохновение, поверить в свои силы...

Письмо восемнадцатое

Писателя видно издалека. В нем проступает этакая вальяжная значительность, этакая, я бы даже сказал, барственность. Сразу ясно, вот идет писатель. Впрочем, в любом писателе, даже не барственном, всегда ощущается присутствие некоей тихой тайны.

Ведь чем занимается писатель – непонятно. Начнешь спрашивать – говорит что-то невнятное, заученное и к делу

не относящиеся.

Владимир Маканин – писатель умный. С ним интересно разговаривать. С писателями, кстати, это бывает отнюдь не так часто. Маканин как-то говорил, что есть писатели, которые мыслят картинками (Толстой, скажем). И это одна традиция. Но есть и другая, идущая от античности. Это литература мысли: когда писатель движется не от картины к картине, а от мысли к мысли. Таковы Монтень, Ларошфуко или Паскаль – вообще вся афористическая французская литература. Таков же Эмиль Чоран, которого французы, игнорируя его румынское происхождение, называют Сьоран. Он, кстати, писал диссертацию по французской афористике. Но в числе авторов себе наиболее близких называет Розанова. Французы Чорана знают, а Розанова – нет. Ужас! Таков же и Паскаль Киньяр в своих последних книгах (в «Блуждающих тенях», в частности, вызвавших глухую неприязнь французской публики и удостоенных Гонкуровской премии). Киньяр, между прочим, тоже не знает Розанова. Я с ним говорил на эту тему – он приезжал представлять свою замечательную «Ладью Харона» (*La barque silencieuse*), рассказывал про свои книги, которые строятся как fuga – контрапункт и проч.

У нас же из современных писателей (если не считать Венички Ерофеева с его гениальным опусом «Розанов глазами эксцентрика») опыт Розанова попытался воспринять Дмитрий Галковский в «Бесконечном тупике». Но кто сейчас

помнит Галковского? Канул, утонул, даже кругов на воде не осталось.

Двигаться от мысли к мысли – трудно, хотя бы потому, что мыслей много не бывает, это если говорить о писателе. Читателю, правда, труднее вдвойне, потому что он вообще думать не привык.

Можно двигаться от ощущения к ощущению. Вот замечательный нормандский учитель Филипп Делерм написал книгу «Первый глоток пива и прочие мелкие радости жизни». Лирические зарисовки – утренняя покупка круассана, первый глоток пива (он действительно отличается от остальных), теплый свитер, который надеваешь впервые. Поэтика осязания. Как если бы улитка описала свои ощущения от движения. Нет, правда, как она ползет? что чувствует? Получилось бы что-нибудь вроде «В дороге» Керуака. Он как раз документировал свою жизнь с беллетристической страстью. Завидное качество. То есть, по существу, настаивал на том, что он живет как писатель. Или так – поскольку он писатель, то и живет по-другому, пусть даже жизнь его слагается из обычных и обыденных жестов.

Я не люблю Керуака. И Хемингуэя не люблю.

Кстати, ты знаешь, что у Монтеня была плохая память. Он все забывал. Собственно, поэтому и писал. То есть для памяти выписывал фрагменты из книг, чтобы не забыть, а уж потом комментировал. Я бы мог стать Монтенем!

Письмо девятнадцатое

От мысли к мысли – нелегкое движение. Человеку только кажется, что он думающее существо. Думать трудно. А Декарт – зануден. Что такое – думать мысль? Обычное состояние человека – хаос вербальных рефлексов, фиксация сиюминутных ощущений: «Красивая девушка. Улыбается мило. А молодой человек ее – неловок и скован. И противно учтив. Интересно, это их первое свидание? Она пьет вино. Чего бы мне выпить? Или не пить. Завтра много дел. Кстати, я, кажется, должен денег Н. И за квартиру. И когда мне заплатят? Нужно отдать в ремонт машину. Завтра? – Не могу...» Это все не мысли. То есть «должен денег» – это не мысль. И про девушку – не мысль тоже.

Мысль всегда – усилие, осязаемая тяжесть. Безмыслие – расслабленность. Прострация – не такое уж загадочное состояние. Подавить вербальные рефлексы в голове легко. И не думать ни о чем легко. Труднее понять, что медитация – тоже интеллектуальное сосредоточение.

Безмыслие затягивает, захватывает. В нем чувствуется какая-то сладость небытия. Обманчивый покой. Я – спит или грезит, покачивается на волнах экзистенциального потока. И нет ни мыслей, ни озарений, ни откровений. Душевный столбняк. Паралич воли. Белый шум.

Письмо двадцатое

Что такое медитация, я отчасти понимаю благодаря рыбалке. То есть, конечно, рыбалка не вполне медитация, но и не безмыслие. Нет. Это особое ощущение. Это такое волевое растворение в мире. Волевое – потому что ты одержим желанием поймать рыбу. Ты ее ждешь, предчувствуешь, провидишь. Ты как будтоходишь в глубины инобытия, в непроясненные сферы существования. Вода ведь – непроясненная стихия, такой хрестоматийный символ психоаналитиков. И вот оттуда, из этих странных глубин, из неведомой тебе темноты, ты ждешь зова, то есть поклевки. Ждешь, когда безжизненный и скучный поплавок преобразится и затанцует на поверхности, а затем уйдет под воду. И натянется леска, и бьющаяся, живая тяжесть согнет удилище. И вот тогда начнется поединок, тогда подступит неповторимое волнение, судороги и спазмы охоты, тогда ударит в кровь адреналин, и обострятся чувства, и эзотерический экстаз охватит все твоё существо.

Смотреть на поплавок – это удивительное занятие. Вроде бы взгляд сфокусирован в одной точке. Но одновременно ты видишь и чувствуешь весь мир. И понимаешь его. Понимаешь и воду, и ветер, и колыхание ветвей. Ты растворен в мире, но при этом остро и трепетно ощущаешь свое Я.

Блаженство и восторг. Погружение. Страсть.

Письмо двадцать первое

Впервые на рыбалку меня взял отец. Мне было четыре года. Сосредоточенное ожидание мне было тяжело. Рыбу я ловить не умел. В основном я смотрел, как ловит отец. Он был странным рыбаком, то есть слишком артистическим. Рыбаком-интеллигентом, не добытчиком. У него были какие-то свои, довольно сложные отношения с рыбой. Она, то есть рыба, кажется, отчасти презирала его за интеллигентность.

У моего отца была великолепная память. И слух. И еще голос – приятный, строгий глубокий баритон. Он был музыкален, но музыкален как-то филологически. Наверное, это вообще ключевое слово в характеристике его талантов. Отец был слишком филолог. Во всем.

Он всю жизнь играл – сначала на скрипке, потом на скрипке и фортепиано. И, как мне кажется, не продвинулся в игре дальше ученических штудий. Слушать бесконечные повторение одних и тех же пьес, с неизменными провалами, музыкальной фальшью, отдающей в душе скрежетом пенопласта по стеклу, было мучительно. Гораздо приятней были его рассказы о музыке, если только он не пытался их иллюстрировать собственной игрой. Чаше он все-таки ставил пластинки.

Отец тщательно готовился к рыбалке. Подбирал поплавки, крючки, вязал поводки. Подоконники в квартире на Чи-

стых прудах были уставлены банками с водой. В воде плавал, извиваясь, мотыль – красный червячок, личинка комара. Раз в неделю мотыль перебирался, то естьдохлый выкидывался, бодрый и здоровый отправлялся обратно в банку.

Опарыш – личинка навозной мухи, белый мускулистый червяк – хранился в холодильнике.

На книжных полках теснились тома альманаха «Рыболов-спортсмен». Кстати, странное, почти противоестественное сочетание. Конечно, рыбалка не спорт. И рыболов не спортсмен.

Рыболовные атрибуты для отца, кажется, были значимее самой рыбалки. А процесс, безусловно, важнее результата. Наверное, он подходил к рыбалке как к тексту. Или как к нотной партитуре. Он не был удачливым, успешным рыболовом. Собственно, как и я. Видимо, это тяжкое бремя интеллигентности. Мир и всякая тварь смеется над нами. Включая рыб.

Письмо двадцать второе

Как бы ты ни растворялся в мире, как бы ни проникал в него всем своим существом, все равно подспудно гложет сознание недоуменный вопрос – что я здесь делаю? почему я здесь? И становится неловко, неприятно, холодно.

Легче всего от мира уйти в себя. Мы заслоняемся от мира нашим Я. Одежда, вещи, дом – проекция Я и защита от

мира. Поэтому и в гостинице часто в душе возникает то же недоумение, то же острое переживание чуждости внешнего пространства. Зачем я здесь?

Мир, природа не так уж благожелательны и не особенно готовы нас принять. То есть они тоже постоянно спрашивают в свою очередь – чего ты здесь делаешь?

Действительно – чего?

Мир – рассказанная история, сказано в Талмуде, если верить писателю Иличевскому (сам я Талмуд не читал). Только когда мы в него входим, не сразу понимаем, какая роль нам отведена. А иногда и не понимаем вообще никогда.

Вдруг я попал в чужое произведение – и что мне там делать, какие слова говорить? Вообразишь себя королем, а тебе, оказывается, отведена роль шута. И хорошо еще шута.

Талмуд не дает оценок – нет эпитетов, – какая именно история. Просто история. И что на уме у автора? Может, он тоже импровизирует?

Вся жизнь состоит из укрытий. Писательство – тоже укрытие. Словесный дом. Построил – и чувствуешь себя хорошо, надежно. Некоторое время. Но попробуй разобраться с хаосом, царящим в голове, даже только сосредоточиться на нем, и обман рассеется, опоры рухнут, голое Я задрожит и заплачет.

Куда деть свой хаос, свой душевный беспорядок, в какую форму его облечь? Слава богу, есть традиция, жанры. Жан-

ры – литературные подсказки, готовые домики для Я.

Ну вот, текст мой переходит в восклицания и риторические вопросы. Интонация меняется. Такая внутренняя мутация. Может, это закономерно.

Письмо двадцать третье

Что творилось в голове у мифологического человека, человека эпохи мифов, как он думал? Голова, населенная чудовищами, – вот его мозг, его сознание. Душа, полная страхов. И вокруг – тоже чудовища. Этот древний ужас легко почувствовать. В университете, на втором курсе, я отправился в фольклорную экспедицию в Полесье. Дело было зимой. И по ночам тьма была какая-то нечеловеческая. И от ветра хлопала дверь сарая. И подкрадывался ужас.

Ночь. Стук двери. Полесье. Гиблое место. Спустя десять лет убитое Чернобылем.

Кошмар не нужно выдумывать, он нас окружает. И в нас живет. Человек просто старается о нем не думать, возводит преграды разного рода. В том же Полесье старики и старушки неохотно рассказывали былички и «предания старины глубокой». Русалки умерли, говорили они. Раньше – были, но пришла советская власть, и поумирали лешие и русалки. И в избах, под иконой в красном углу, появились портреты деятелей ЦК КПСС. Понятно, куда русалкам против них.

У Михаила Гаспарова в «Занимательной Греции» есть чу-

десный рассказ о том, как римляне поймали сатира. Историческое свидетельство. Судя по всему, последнее свидетельство о сатирах. Допросили его и отпустили – достойный образец экологического поведения.

А няня моя, Екатерина Васильевна (родом была она из Арзамасской области), рассказывала родителям на забаву истории про оборотней. Вполне серьезно рассказывала. Говорила, например, что мужики в деревне как-то заподозрили в оборотничестве одного из своих. Он оборачивался козлом и всячески проказил. И вот однажды, когда обернулся колдун в очередной раз козлом, взяли вилы мужики и погнались за ним. Козел от них ускакивает, а они бегут за ним. И приперли козла к забору, обступили кругом. А козел поднялся на задние ноги и сказал человеческим голосом: «Простите меня мужики, я больше не буду».

Письмо двадцать четвертое

Другую мою няню звали Анастасия Ивановна. Ни нравом, ни речью на Екатерину Васильевну похожа она не была. И происходила из Тверской губернии. Низенькая, седая, с усталым, покрытым морщинами лицом, чуть сторбленной фигурой. Усталость вообще была во всем ее облике. Усталость и серьезность. Она все делала с усилием, как будто преодолевая внутреннюю тяжесть, как с упорством взбирающийся в гору человек, но ни минуты не стояла без дела. Я не помню

ее смеющейся, у нее, кажется, вообще не было чувства юмора. Она вся была – олицетворенное служение, долг, верность, преданность. Она воспитала моего отца и меня с братом. Она была даже не членом семьи, а частью дома, домашнего мира, его неизменным атрибутом, одной из его основ. В ней чувствовалась какая-то вековая, крестьянская жила, та деревенская суть, которая сближает человека с существом природы вообще. Дерево, земля – вот ее стихии. Одна знакомая моей мамы называла ее Савельичем. В семье же у нас ее звали просто Настя. Даже мы с братом, хотя Настя нам в бабушки годилась. В этом была какая-то неловкость, которую я, став постарше, остро чувствовал. Что-то от старой барственности, какая-то неприятная отрыжка крепостного права.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.